

Андрей Воронцов
дело помещика
Ленского



Андрей Воронцов

Дело помещика Ленского

«Автор»

2026

Воронцов А.

Дело помещика Ленского / А. Воронцов — «Автор», 2026

Чиновник по особым поручениям, надворный советник Шубин, получает распоряжение Санкт-Петербургского генерал-губернатора заняться расследованием обстоятельств дуэли, на которой был убит молодой дворянин Владимир Ленский. Чем глубже Шубин погружается в детали этого странного происшествия, тем яснее он осознает, что результаты следствия никогда не будут разглашены, а само разбирательство может стоить ему жизни.

Произведение является своего рода "приквелом" к роману Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин".

Содержание

ДЕЛО ПОМЕЩИКА ЛЕНСКОГО	5
Глава вторая. Усадьба Лариных	9
Дневник Татьяны	13
[июнь 1821]	13
Глава третья. Анатомия выстрела	14
Глава четвертая. Штосс, пунш и обмолвка	20
Глава пятая. Няня Филиппьевна и пропавшие письма	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Андрей Воронцов

Дело помещика Ленского

ДЕЛО ПОМЕЩИКА ЛЕНСКОГО

Глава первая. Разбитый тракт

Июнь 1821 года. Тверская губерния.

Дороги в России — суть не сообщение, но наказание Божие, ниспосланное для смирения гордыни путешественника. Сия мысль, не новая, но оттого не менее справедливая, посетила надворного советника Илью Андреевича Шубина в тот миг, когда переднее левое колесо его дорожной кареты, преодолевшей уже без малого четыреста вёрст от Санкт-Петербурга, ухнуло в рытвину, наполненную жидкой глиной цвета дурно сваренного кофе. Карета, детище английского мастера Райта, выписанная некогда покойным батюшкой для покойной же матушки, жалобно скрипнула рессорами и встала, накренившись на правый борт. Послышался характерный треск — то ли лопнула тяга, то ли ось дала излом, — и Шубин, ухватившись за ременную петлю над дверцей, чтобы не скатиться с сиденья, мысленно возблагодарил Провидение за то, что экипаж опрокинулся не в кювет.

— Тпру, окаянные! — донеслось с козел, и ямщик, мужик лет сорока с лицом, обветренным до состояния дубленой овчины, принялся нахлестывать лошадей, но те лишь переступали с ноги на ногу, кося на хозяина влажными фиолетовыми глазами и, казалось, испытывая к нему нечто вроде философического презрения. Ямщик сплюнул, выругался вполголоса и, бросив вожжи, тяжело спрыгнул в грязь. Сапоги его, стоптанные и рыжие от дорожной пыли, тотчас ушли в жижу по щиколотку.

Шубин, не меняя положения тела, приоткрыл дверцу и выглянул наружу. Зрелище, открывшееся его взору, не сулило скорого избавления. Тракт, именуемый на картах «большой столбовой дорогой», представлял собою извилистую полосу месива, прорезавшую поля, залитые водой пополам со вчерашним дождем. Верстовые столбы, выкрашенные в казенный черно-белый цвет, покосились, точно пьяные солдаты в карауле, а один и вовсе лежал плашмя, уткнувшись верхушкой в лопухи. По обочинам тянулись жидкие кусты ольшаника, в ветвях которого безнадежно запутался прошлогодний репей; над полями, серыми и унылыми, кружились вороны, издавая хриплые, каркающие крики.

— Далеко ли до ближайшей станции? — спросил Шубин, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Он знал за собою слабость: в минуты дорожных неурядиц в нем просыпался петербургский чиновник, привыкший к порядку и предсказуемости мостовых, и это раздражение требовало выхода.

— Да версты три, не боле, ваше благородие, — отозвался ямщик, вытирая пот со лба и оставляя на нем грязные разводы. — Колесо-то цело, ось держит, только вот вытянуть надобно. Засели знатно. Эй, Прошка, подсоби!

Прошка, денщик Шубина, молодой парень с лицом, изрытым оспой, но с живыми и умными глазами, уже спрыгнул с козел и, не дожидаясь повторного окрика, принялся помогать ямщику. Вдвоем они подсунули под колесо вагу — толстую жердь, найденную тут же у обочины, — и, навалившись, принялись выталкивать карету из рытвины. Лошади, почуяв, что от них требуется усилие, дружно налегли на постромки. Карета дернулась, заскрипела, подалась вперед — и, наконец, с чавкающим звуком выбралась на более-менее твердую почву.

— С богом, — выдохнул ямщик, забираясь обратно на козлы. — Теперича до станции рукой подать.

Шубин захлопнул дверцу и откинулся на сиденье. Внутри кареты царил полумрак, пропахший дорожной кожей, табаком и еще чем-то неуловимым — то ли сухим вереском, которым была набита подушка сиденья, то ли старыми письмами, возимыми в саквояже. Он прикрыл глаза и попытался собраться с мыслями. Ему предстояло дело, ради которого его, собственно, и выдернули из столицы в середине июня месяца, нарушив размеренный ход существования, состоявшего из присутствия в канцелярии, вечернего виста у Корфа да редких визитов к портнихе-немке, державшей заведение на Гороховой. Дело, ради которого он трясся теперь по ухабам Тверской губернии, было тем самым, что называют «особым поручением», а сие означало, что начальство либо крайне встревожено, либо крайне недовольно, либо и то, и другое вместе.

Две недели назад его вызвал к себе граф Милорадович, генерал-губернатор Петербурга, собственной персоной.

Шубин, признаться, опешил: он числился по особым поручениям при Министерстве юстиции, но с делами политического сыска пересекался редко, больше по бумагам. Кабинет графа поразил его аскетичностью: ни золоченой мебели, ни картин в тяжелых рамах, ни бархатных портьер — только дубовый стол, заваленный докладами, да портрет императора в простенке, да голландская печь, выложенная белыми изразцами. Сам Милорадович, сухощавый, с лицом усталой гончей и пронизательными серыми глазами, сидел, подперев висок длинными пальцами, и смотрел на вошедшего без тени приветствия.

— Илья Андреевич, — молвил он, не тратя времени на предисловия, — вам надлежит отбыть в *** уезд Тверской губернии, в имение господ Лариных. Месяц назад там произошла дуэль. Стрелялись двое: помещик Евгений Онегин, столичный дворянин, и его сосед, некто Владимир Ленский, молодой человек, недавно возвратившийся из германских университетов.

— Ленский? — переспросил Шубин, и фамилия эта показалась ему смутно знакомой. Он читал какие-то стихи за подписью «В.Л.» в «Сыне отечества» — кажется, элегию «К ней» и отрывок из поэмы «Геттингенские вечера». — Позвольте узнать, граф, отчего такая честь? Дуэли, сколь мне известно, случаются в губерниях с прискорбной регулярностью, и местное начальство обыкновенно справляется с ними без вмешательства столичных чиновников.

Милорадович взял со стола гусиное перо, повертел в пальцах и отложил. Этот жест, как впоследствии узнал Шубин, означал у графа крайнюю степень раздражения.

— Местное начальство, — проговорил он с расстановкой, — отработало, что имела место бытовая ссора на почве ревности. Господин Онегин якобы ухаживал за невестой Ленского, девицей Ольгой Лариной, чем вызвал неудовольствие жениха. Вызов, барьер, выстрел — все чин чин, как прописано в дуэльном кодексе. Однако ж в деле имеются изрядные странности.

— Какого рода странности? — осведомился Шубин.

— Во-первых, — граф загнул мизинец, — тело убитого было предано земле до прибытия исправника. Сие есть прямое нарушение устава и дает основания подозревать, что место преступления могло быть изменено. Во-вторых, — безымянный палец, — секундант, отставной офицер Зарецкий, известен в округе как человек, мягко говоря, сомнительной репутации. В молодости он был карточным шулером, затем состоял в шайке контрабандистов, а ныне промышляет тем, что ссужает деньгами под залог имений. В-третьих, — средний палец, — имеются сведения, что Ленский незадолго до смерти вел переписку с лицами, чьи имена уже известны в Петербурге по делам о вольнодумстве.

— Политическая подоплека? — тихо спросил Шубин.

Милорадович не ответил. Вместо этого он протянул через стол сложенный вчетверо лист гербовой бумаги.

— Здесь предписание. Вам надлежит отправиться на место, провести дознание и представить заключение. Особое внимание обратите на связи покойного с лицами немецкого происхождения. И — Шубин, — голос графа упал почти до шепота, — не афишируйте цель вашей

поездки. Для уезда вы — ревизор из Петербурга. Сначала осмотритесь, вчувствуйтесь. А потом уж решайте, в каком направлении искать..

Шубин сложил предписание, спрятал во внутренний карман сюртука и, поклонившись, вышел. Уже взявшись за ручку двери, он услышал голос Милорадовича:

— Илья Андреевич, — окликнул его граф. — Россия — страна, где любое имя, произнесённое в нужный час, может обернуться судьбой. И где любая судьба, оборванная не вовремя, становится камнем, который тянет на дно.

Шубин обернулся. Милорадович смотрел на него, и в его глазах было что-то странное — не усталость, не раздражение, а скорее та особенная, почти трагическая ясность, какая бывает у людей, которые знают больше, чем могут сказать.

— Я запомню, ваше сиятельство, — ответил Шубин.

Шубин вышел. Уже в дверях его нагнал голос Милорадовича, брошенный вдогонку:

— И помните: мертвые иногда говорят громче живых.

Теперь, сидя в карете и перебирая в памяти этот разговор, Шубин пытался уловить ускользающий подтекст. Он терпеть не мог, когда начальство играло в загадки. «Особое внимание на немецкие связи» — что сие значит? Ленский учился в Геттингене, это явствует из самого факта его биографии. Но при чем тут политический сыск? Мало ли молодых дворян, начитавшись Шиллера и Канта, возвращаются в отечество с туманными идеями? Обыкновенно эта дурь проходит после первой же зимы в имении, когда наступает срок платить проценты в Опекунский совет и выясняется, что мужики, вместо того чтобы работать, пьянствуют и воруют лес.

Карета тем временем выехала на пригорок, и впереди показались огни почтовой станции — длинный приземистый сруб под тесовой крышей, конюшня на пять стойл да колодец с журавлем, скрипевшим на ветру. У ворот стояла одинокая телега с задранными оглоблями; из трубы вился дымок, обещая тепло и горячий ужин.

Шубин приказал остановиться. Ямщик, довольный, что добрались без новых приключений, лихо осадил лошадей. На крыльцо, поеживаясь от вечерней сырости, вышел станционный смотритель — старик в засаленном мундирном сюртуке, из-под которого виднелась исподняя рубаха не первой свежести. Он поклонился, шаркнул ногой и привычно затянул:

— Лошадей нет-с, ваше высокоблагородие. Все в разгоне. Придется обождать до утра.

— Подорожная, — Шубин протянул бумагу, не удостоив старика взглядом. — И велите подать самовар в чистую комнату. Да поживее.

Смотритель, подслеповато щурясь, изучил подорожную, и лицо его, до того кислое, вытянулось в выражении крайнего подобострастия.

— Из Петербурга-с... По казенной надобности... Сию минуточку-с, ваше высокоблагородие, сию минуточку...

Чистая комната оказалась клетушкой с одним окном, выходящим на задний двор, где куры копались в навозной куче. Шубин, однако, успел заметить и остальное: крашеный дощатый пол, в щелях которого застряла вековая грязь; засаленную скатерть на столе, покрытую пятнами, напоминавшими географическую карту неизвестной страны; на стене — лубочный портрет Кутузова, напечатанный на дешёвой бумаге и приколотый кнопками; под портретом — расписание почтовых станций с указанием вёрст, уже почти неразличимое от времени. В углу, на гвозде, висел тулуп смотрителя — засаленный, дырявый, завязанный бечёвкой вместо пуговицы. Из соседней комнаты доносился храп, там, очевидно, спали ямщики, ожидавшие своей очереди. Пахло кислой капустой, махоркой и прелым сеном. Шубин невольно вспомнил петербургские гостиницы с их мраморными лестницами и швейцарами в ливреях, и усмехнулся: вот она, настоящая Россия. Впрочем, после восьми часов тряски по ухабам и это казалось роскошью.

Прошка уже хлопотал у стола. Он извлек из дорожного погребца серебряный стакан, флягу с ямайским ромом, головку сахару и щипцы для колки. Погребец сей, доставшийся Шубину от отца, был предметом его особой гордости: внутри, помимо посуды, имелись потайные отделения для писем и документов. Шубин опустил на стул и блаженно вытянул затекшие ноги.

— Чаю, Прошка. Да покрепче. И рому не желей.

Пока закипал самовар, он достал из саквояжа тонкую папку, перевязанную тесьмой. Дело № 17-а. «О смерти помещика Владимира Ленского». Бумаги, присланные из уездного суда, были скудны и неряшливы: рапорт исправника, писанный таким почерком, будто у писца тряслись руки после недельного запоя; показания Зарецкого — чрезвычайно скудные; да медицинское заключение, составленное лекарем-немцем на ломаном русском языке. Из заключения следовало, что смерть наступила «от проникновения пули в грудную полость с повреждением сердечной сумки и левого легкого». И ниже: «рана имеет входное отверстие правильной круглой формы, края опалены порохом».

Шубин перечитал эту фразу дважды, затем трижды. Это уже выглядело странно, но, судя по всему, не вызвало ни у кого вопросов. Он отложил папку и задумался.

В дверь поскреблись.

— Войдите.

Вошел смотритель с подносом, на котором громоздились: кипящий самовар, заварной чайник с отбитым носиком, блюдец с наколотым сахаром и тарелка с пирожками.

— Не изволите ли откусать, ваше высокоблагородие? У меня щи из головизны, расстегаи с налимьей печенкой. Баба моя стряпает знатно.

— Неси, — кивнул Шубин. — И вот что, любезный: принеси-ка сюда книгу, в которую проезжающие записываются. За прошлый год и за нынешний.

Смотритель вытаращил глаза.

— Книгу-с? Да зачем она вашему высокоблагородию?

— Ревизия, — коротко ответил Шубин. — Исполняй.

Через четверть часа он сидел над пухлым фолиантом в засаленном переплете, перелистывая страницы. Мелькали фамилии: поручик такой-то, купец сякой-то, вдова действительного статского советника. Он искал тринадцатое января 1821 года. Накануне дуэли.

Вот она, эта страница. Вернее, то, что от нее осталось.

Лист был грубо вырван. В корешке торчали обрывки бумаги.

Шубин усмехнулся. Дело становилось все любопытнее. Значит, кто-то побывал здесь до него. Кто-то, кому очень не хотелось, чтобы имя последнего корреспондента Ленского стало известно следствию.

Он захлопнул книгу и задул свечу. Ночь пахла дождем и навозом. Где-то далеко, в полях, лаяла собака.

Глава вторая. Усадьба Лариных

Усадьба встретила его покоем, какой бывает токмо в русской деревне, когда время стоит, обратившись в кисель, и даже мухи, облепившие оконные рамы, жужжат как-то сонно и нехотя. Двухэтажный дом с мезонином, обшитый тесом и выкрашенный в бледно-желтый цвет, глядел на мир шестью окнами с зелеными ставнями, за которыми угадывались белые занавески, подвязанные голубыми лентами. Перед домом — круглый лужок, когда-то бывший цветником, а ныне заросший одуванчиками и подорожником. Чуть поодаль — покосившаяся беседка, увитая диким хмелем, да старый вяз, на ветвях которого качался скворечник, давно пустой и покосившийся.

Сад, спускавшийся к пруду, являл собою зрелище запустения почти поэтического, достойное кисти романтического живописца. Дорожки, некогда посыпанные желтым песком, заросли травой; мраморная статуя Венеры Медицейской, привезенная еще дедом нынешних хозяев из Италии, стояла без носа и с зелеными пятнами мха на плечах, и левая рука ее была отбита по локоть — говорили, будто в грозу ударила молния, но вернее было предположить, что это дело рук местных мальчишек. Кусты сирени, перепутавшись с крапивой, образовали непроходимую чашу; в глубине сада чернел пруд, затянутый ряской, и торчали из воды гнилые сваи старой купальни, где когда-то, должно быть, плескались барышни. В воздухе стоял густой, сладковатый запах цветущей липы, смешанный с ароматом сырой земли и зацветающей воды, и от этого запаха у непривычного человека начинала кружиться голова, как от хорошего вина.

Шубин, стоя на крыльце, окинул взглядом усадьбу. Дом, выкрашенный когда-то в бледно-желтый цвет, теперь облупился, открывая серые, промороженные доски. Кое-где ставни висели на одной петле; водосточная труба, проржавевшая насквозь, оторвалась от стены и теперь жалобно поскрипывала при каждом порыве ветра. Однако запустение это было не то чтобы убогим, а каким-то домашним, даже уютным, как бывает в старых дворянских гнёздах, где время течёт медленно и нехотя. Шубину вдруг пришло на ум, что его собственная квартира в Петербурге, при всей её чопорной чистоте, никогда не производила такого впечатления: здесь хотелось остаться, сесть в кресле, глядеть на пруд и ни о чём не думать.

На крыльцо вышла хозяйка, Прасковья Андреевна Ларина, урожденная Корсакова. Это была женщина лет пятидесяти, полная, с добрым, но несколько растерянным выражением лица, какое бывает у людей, привыкших к размеренному течению жизни и теряющихся, когда оно нарушается. Одежда ее состояла из чепца с оборками, давно не видевшего крахмала, домашнего капота гроденаплевого шелка мышинного цвета и туфель без задников, в которых она шаркала по полу, как по войлоку. На груди ее, на черном шнурке, висел маленький золотой медальон с портретом покойного супруга, Дмитрия Афанасьевича Ларина.

Шубин заметил, что руки у неё, пухлые и красные, совсем не дворянские, скорее, кухонные, привыкшие к тесту и ухватам. В молодости, верно, она была хороша собой, но годы и деревенская жизнь сделали своё дело: лицо оплыло, под глазами набрякли мешки, на подбородке обозначился второй. Однако в её улыбке, когда она глядела на гостя, сквозило что-то девичье, почти кокетливое — должно быть, память о тех временах, когда она выезжала в московские балы и имела успех. Шубин подумал, что вдовство, видимо, далось ей нелегко: без мужа усадьба пришла в упадок, а добрая воля и доброе сердце не могли заменить хозяйского глаза.

— Батюшка! — всплеснула она руками, увидев гостя, выходящего из кареты. — Из Петербурга! Да какими судьбами? Да что ж вы не предупредили? У нас все в таком беспорядке... Гришка, тащи вещи в угловую комнату! Да скажи Палашке, чтоб самовар ставила! Да перину взбей, что ты как сонная муха!

Шубин приложился к пухлой ручке, представился ревизором, прибывшим для проверки дел земского суда, и попросил позволения остановиться на несколько дней. Прасковья Андреевна, польщенная столичным гостем — в их краях таковые случались редко, а если и бывали, то не задерживались, — захлопотала, заохала, велела готовить лучшую комнату и нести обед.

Комната, которую ему отвели, оказалась угловой, с окнами в сад, и из нее были видны и пруд, и покосившаяся беседка, и верхушка старого вяза. Мебель в ней была разномастная, но добротная: бюро красного дерева с бронзовыми ручками соседствовало с карельской березой стула, а за ширмой, расписанной китайскими драконами и пионами, стояла широкая кровать под ситцевым пологом. На стене висела гравюра с изображением Полтавской баталии — шведы бежали, а Петр Великий на коне возвышался над полем брани. На подоконнике, заставленном горшочками с геранью, лежала забытая кем-то книга — томик Руссо во французском переводе, заложенный засушенным цветком. Пахло сухими травами, разложенными на подоконнике от моли, и воском.

Шубин велел Прошке разложить вещи, а сам спустился в гостиную, где уже накрывали стол.

Обед, поданный в три пополудни, был обилен и не лишен достоинств. На стол ставили перемен пять, и каждая заслуживала отдельного описания. Сначала принесли ботвинью с осетриной — холодную, освежающую, с мелко накрошенной зеленью и тертым хреном, от которого слегка щипало в носу. Потом — карасей в сметане, томленных в печи так, что кости растворялись во рту, оставляя лишь нежное, сладковатое мясо. Затем — холодную телятину с моченой брусникой, утку, фаршированную солеными сливами, и, наконец, клюквенный кисель на миндальном молоке, который подавали в граненых вазочках с серебряными ложечками. Шубин отдал должное каждому блюду, нахваливая стряпню, и Прасковья Андреевна расцвела, как расцветает роза после летнего дождя.

— Ах, батюшка, — говорила она, подкладывая ему лучшие куски, — кабы не горе наше, мы бы и не заметили, как лето пролетело. Да вот беда-то какая случилась... Вы уж простите, что я про это, может, оно и не по чину говорить с ревизором о семейных делах, но сил нет молчать.

— Какая же? — спросил Шубин, старательно изображая неведение и отправляя в рот кусок утки.

— Да Володю-то, Володю нашего... Владимира Ленского, соседа нашего... Застрелили-с. — Прасковья Андреевна поднесла к глазам платок, шитый васильками. — Такой мальчик хороший был, хоть и чудной. Из немцев приехал, стихи писал. Имение у него было небольшое, но ухоженное, от батюшки покойного досталось, Аркадия Петровича, вы, верно, не знали. Дом у него был славный, с колоннами, и сад, и роща березовая. Думали, свадьбу сыграем с Оленькой, моей младшенькой, а вышло вон что... В январе это было, на Крещение. Хоронили в метель, крест на могиле и тот снегом занесло. Оленька-то уж замуж выскочила, за ротмистра Уланова, и в полк с ним уехала, теперь где-то под Варшавой. А старшая, Татьяна, так и сидит в девках, книжки читает.

— Говорят, дуэль? — осторожно спросил Шубин.

— Дуэль, дуэль... — вздохнула Ларина. — Из-за Оленьки же, проказницы. Онегин, сосед наш, на именинах у Татьяны за ней приударил, а Володя-то и вспылел. Молодо-зелено, кровь горячая. Онегин ему слово, он — вызов. А теперь нет ни жениха, ни свадьбы.

— Я бы хотел осмотреть имение покойного, — сказал Шубин. — По долгу службы.

Прасковья Андреевна перекрестилась.

— Отчего же не посмотреть? Только там уж все опечатано. После того случая приезжали из земского суда, бумаги искали, все вверх дном перевернули. Управляющий там теперь, старый Захар, он вам отопрет. А ежели что нужно будет, вы уж скажите, батюшка, мы поможем.

За ужином Шубин впервые увидел Татьяну.

Она вошла в столовую неслышно, словно тень, в простом сером платье с глухим воротом, отделанным белым кружевом, и села на свое место, не поднимая глаз. Ей было лет двадцать; черты ее лица, крупные и неправильные, не отвечали канонам светской красоты, но в выражении их было нечто такое, что заставляло забыть о неправильности линий. Бледность, разлитая по щекам, не походила на модную интересность, но говорила скорее о долгих ночах, проведенных без сна. Темные волосы, гладко зачесанные, открывали высокий лоб; единственным украшением ее был агатовый крестик на черном шнурке. Шубин, представленный ей Прасковьей Андреевной, поклонился и приложился к ручке — пальцы ее были холодны и безжизненны, как у мраморной статуи в саду.

В течение всего ужина она не проронила ни слова, только однажды, когда разговор зашел о покойном Ленском, чуть заметно вздрогнула и опустила глаза еще ниже. Шубин заметил, что она почти не притронулась к еде, лишь рассеянно крошила хлеб на тарелке да отпивала маленькими глотками воду из стакана.

После ужина, когда Прасковья Андреевна удалилась распорядиться насчет чая, а горничная убирала посуду, Шубин задержался в гостиной под предлогом разглядывания фамильных портретов. Татьяна сидела у окна с книгой, но, как он заметил, не переворачивала страниц. За окном сгущались сумерки; в камине потрескивали дрова; часы на стене мерно отбивали секунды.

— Вы ведь не ревизор, — сказала она вдруг, не поднимая головы от книги.

Шубин замер. Портрет какого-то генерала в напудренном парике, который он делал вид, что рассматривает, словно качнулся на стене.

— Отчего вы так решили, сударыня?

— Ревизоры не расспрашивают о покойниках с таким пристрастием. — Она подняла глаза, и он поразился их выражению: спокойному, печальному и необычайно пронизательному. — Ревизор проверил бы бумаги, покачал головой и уехал. А вы остаетесь. Задаете вопросы. Ходите по дому с таким видом, будто ищете что-то. Кто вы?

Шубин помолчал, собираясь с мыслями. Потом сказал:

— Вы правы. Я не ревизор. Я чиновник по особым поручениям при Министерстве юстиции. И прибыл сюда затем, чтобы выяснить истинные обстоятельства гибели Владимира Ленского.

— Истинные обстоятельства? — Татьяна чуть прищурилась. — Владимир убит на дуэли. Это всем известно. Об этом всем известно, об этом писали в газетах. Ссора из-за ревности, обмен выстрелами, трагическая гибель. Что же еще вы намерены выяснить?

— Известно — да. Но истинно ли? — Шубин шагнул ближе. — Меня интересует не то, что говорят, а то, что было на самом деле. И у меня есть основания полагать, что дуэль была не случайной.

Она молчала, глядя в темнеющее окно, за которым в саду уже зажглись первые светлячки. Потом тихо, едва слышно произнесла:

— Он был поэт. А поэты не умирают от пуль. Они умирают оттого, что мир отказывается их понимать. Оттого, что действительность оказывается слишком грубой для их тонкой душевной чувственности. Оттого, что небо, которое они воспевают, обрушивается на них и погребает под своими обломками.

— Это очень романтическая версия, сударыня, — усмехнулся Шубин. — Но я, знаете ли, человек прозаический. Я верю не в метафоры, а в факты. А они говорят мне, что дело помещика Владимира Ленского не столь простое. И я вовсе не могу исключить, что имело место преднамеренное злодейство.

Татьяна поднялась. Лицо ее было бледно, но решительно.

— Если вам понадобится помощь, — сказала она, — вы можете рассчитывать на меня. Вы, сударь, явно узнаете о моей былой увлеченности Онегиным, но, смею вас уверить, все

это в прошлом, и я ни коей мере не связана каким-либо обязательствами и собственными убеждениями.

И, не дожидаясь ответа, она вышла из гостиной, оставив Шубина в глубокой задумчивости.

Дневник Татьяны

[июнь 1821]

Приезжий из Петербурга остановился у нас. Маменька зовёт его ревизором, а я не верю. Ревизоры сидят по присутственным местам да бумаги читают, а этот всё ходит, всё высматривает. Вчера после ужина заговорил о Володе. Спрашивал, каков был собою, чем занимался, с кем знался. Я отвечала, а сама думала: зачем ему всё это? Володя умер, дело кончили, чего ещё надобно?

Я сказала ему: «Вы не ревизор». Он удивился, потом признался — нет, не ревизор. Прислан по делу о дуэли.

C'est étrange. Я думала, дело давно закрыли.

Глава третья. Анатомия выстрела

Утро следующего дня выдалось таким, какие в средней полосе России случаются лишь в середине июня: нежарким, с легкой дымкой, смягчавшей очертания далеких предметов, и с тем особенным, чуть горьковатым запахом цветущей липы, от которого у непривычного человека начинает кружиться голова, как от хорошего вина. Шубин проснулся рано, по петербургской привычке, и долго лежал без движения, глядя в потолок, по которому медленно, словно задумавшись о чем-то своем, полз солнечный зайчик, отраженный от прудовой глади. В доме было тихо; только где-то внизу, в людской, едва слышно переговаривались слуги да потрескивали дрова в печи, которую Палашка растопила ни свет ни заря.

Одевался он не спеша, обстоятельно, как делал все в жизни. Сначала — исподняя рубаша тонкого голландского полотна, прохладная и приятная к телу, доставшаяся ему еще от покойного батюшки и хранимая Прошкой как зеница ока. Затем — панталоны со штрипками, которые денщик накануне вычистил от дорожной пыли и отутюжил чугунным утюгом, разогретым на печи, да так, что складки лежали ровно, как по линейке. Потом — жилет мышиного цвета с перламутровыми пуговицами, слегка потертый на локтях, но еще вполне приличный для уездной глуши. Сюртук темно-синего английского сукна. Шейный платок, повязанный узлом «фон Бюлов», на что ушло добрых четверть часа и три попытки: Прошка, помогавший барину, никак не мог ухватить нужную складку и дважды перевязывал платок заново, пока Шубин не остался доволен. Наблюдая за собой в мутноватое зеркало, висевшее над рукомойником, он остался удовлетворен: из стекла глядел человек, в котором равно угадывались и чиновник, и военный, и, пожалуй, светский лев, познавший лучшие времена.

За завтраком, состоявшим из яичницы с ветчиной, творожников со сметаной и густого кофе с цикорием — настоящий кофе в зернах был в доме Лариных редкостью, но Прасковья Андреевна расстаралась для столичного гостя, — он изложил хозяйке свой план на день: осмотреть имение покойного Ленского и место дуэли. Прасковья Андреевна, услышав про мельницу, перекрестилась и велела позвать старого Захара, управляющего, который служил еще при прежнем хозяине и знал все окрестности как свои пять пальцев.

Захар оказался сухоньким старичком лет семидесяти, в залатанном зипуне и стоптаных сапогах, с лицом, напоминавшим печеное яблоко, такое же сморщенное и коричневое. Он почтительно поклонился, сдернув с головы облезлый картуз, и повел Шубина к имению Ленского, по дороге рассказывая о покойном барине.

Дом Ленского стоял в трех верстах от Лариных, на пригорке, откуда открывался вид на березовую рощу и извилистую речку Студенку, блестящую в лучах утреннего солнца. Это был небольшой, но ладный господский дом с белыми колоннами и мезонином — отец покойного, Аркадий Петрович Ленский, от которого досталось имение, был человеком со вкусом и, видно, не жалел денег на обустройство. Сейчас дом стоял заколоченный; стекла в окнах были выбиты — не то ветром, не то мальчишками из соседней деревни, которые, пользуясь безлюдьем, швыряли в окна камнями. На крыльце сидел старый рыжий кот и лениво шурился на солнце, словно ничего не случилось и дом все еще был обитаем.

Захар отпер скрипучие двери и провел Шубина внутрь. В прихожей пахло пылью и запусением. Мебель частью вывезли, частью растащили, в гостиной остался только опрокинутый диван с протертой обивкой да пара стульев без ножек. Но кое-что уцелело. В кабинете, на дубовом столе, покрытом слоем пыли в палец толщиной, еще лежали книги — Шиллер, Гете, Кант в кожаных переплетах с золотым тиснением. На подоконнике — засохшая роза в глиняном горшочке. На стенах — полки, с которых свисали обрывки бумаг, оставшихся после обыска.

— Бумаги-то все из земского суда забрали, — пояснил Захар, шамкая беззубым ртом и крестясь на пустой угол, где прежде висела икона. — Приезжали господа чиновники, все

перерыли, что нашли — увезли. А что не надобно было, то я в сундук сложил, в подпол. Думал, может, кому пригодится. Молодой барин все писал чего-то, все бумаги переводил, свечи жег до утра. Я и сохранил, жалко было выбрасывать.

Шубин спустился в подпол по шаткой деревянной лестнице. Там, среди кадушек для солений, от которых все еще исходил кисловатый запах, и мешков с крупой, стоял окованный железом сундук. Внутри, аккуратно переложенные чистыми тряпицами, лежали тетради, письма, счета — все, что не заинтересовало уездных чиновников. Среди этого вороха Шубин нашел несколько тетрадей со стихами. Почерк — летящий, нервный. Стихи были на русском и немецком — подражания Шиллеру, элегии, сонеты, посвященные некой «О.Л.» (Ольге Лариной, догадался Шубин). Были и политические эпиграммы, довольно смелые — о тирании, о свободе, о необходимости просвещения. Шубин отложил тетради в сторону, решив изучить их позже.

От имения Ленского до старой мельницы было около версты. Дорога вилась меж полей с пожухлой стерней, торчавшей из земли, как щетина. Воздух был наполнен той особенной тишиной, какая бывает в июньский полдень, когда даже кузнечики затихают и только где-то далеко-далеко звенит жаворонок, невидимый в вышине. Шубин шёл не спеша, вдыхая запах нагретой земли и полыни, и чувствовал, как уходит напряжение этих дней. Лес, видневшийся на горизонте, казался синим, почти чёрным, а облака над ним стояли такие высокие и белые, что напоминали паруса. «Вот бы остаться здесь, — подумал он вдруг. — Никуда не ехать, никого не допрашивать, просто жить». Но тотчас отогнал эту мысль как недостойную.

Шубин прошел через березовую рощу, где в траве еще блестела утренняя роса, потом по краю овсяного поля, колыхавшегося под ветром серебристыми волнами, и наконец — вдоль речки. Мельница стояла на пригорке — приземистое бревенчатое строение, почерневшее от времени и дождей. Крылья ее, некогда бодро вращавшиеся под напором ветра, теперь бесильно обвисли, а одно и вовсе лежало на земле, обломанное у основания и заросшее диким хмелем.

Мельник Данила, отставной солдат, встретил его у ворот. Это был старик лет шестидесяти, с лицом, дубленным ветрами, и с трубкой в зубах, которую он периодически перекидывал из одного уголка рта в другой.

— Бог в помощь, — сказал Шубин. — Ты мельник?

— Он самый, ваше благородие. Данила, сын Петров. Только мельница-то не работает с зимы. Крылья, вишь, а чинить некому.

— Я к тебе по другому делу, Данила. Говорят, здесь неподалеку дуэль была. В январе.

Старик пожевал губами, выпустил струю дыма, и табачный запах смешался с запахом тины и нагретого дерева.

— Была, ваше благородие. Как не быть. Прямо вон там, он махнул рукой в сторону пологого склона, спускавшегося к реке. — У трех сосен. Я все своими глазами видел, вот те крест.

— Покажи.

Мельник привел его на место. Три сосны стояли полукругом, точно немые свидетели, уходя вершинами в бледное небо. Земля под ними была утоптана, но уже успела зарастить молодой травой. В стволе одной из сосен, на высоте человеческого роста, виднелась свежая царапина, будто кто-то недавно прикладывал сюда что-то металлическое, может быть, пистолетный ствол.

— Вот здесь, — Данила прочертил носком сапога линию на земле. — Тут стоял тот, чернявый барин, как бишь его, Онегин. А тут — молодой барин, Ленский. А промеж ними — Зарецкий, секундонт. Я вон там, за поленницей, схоронился, чтобы не заметили. Мороз был страшный, градусов двадцать, не меньше, а я все равно смотрел.

— Рассказывай по порядку, — Шубин достал записную книжку в кожаном переплете и карандаш. — Кто приехал первым?

— Первыми — двое в санях. Онегин и Зарецкий. Лошади у них были хорошие, вороные, в яблоках, сразу видно — барские. Привезли с собой ящик с пистолетами, поставили прямо на снег. Ящик был красного дерева, с медными застежками и ручкой. Потом Зарецкий начал шагами мерить — долго мерил, придирчиво, раза три перемеривал, видно, боялся ошибиться. Потом шапку на снегу положил — обозначил, стало быть.

— Сколько шагов?

— Бог с тобой, ваше благородие, не упомнить...

— Что было дальше?

— Дальше приехал Ленский. Опоздал чуток, минут на десять. Сани у него были попроще, лошади взмыленные — видать, гнал. Вылез, отряхнулся и замер. Я на него посмотрел и сразу понял: не жилец.

— Почему?

— Да потому, ваше благородие, что я на своем веку всяких дуэлянтов повидал — и на войне, и в мире. Которые от страха трясутся, которые бравируются, которые пьют для храбрости. А этот... этот был как во сне. Идет и будто не видит никого. Глаза пустые, как у куклы. Зарецкий ему что-то говорит, а он не слышит. Смотрит куда-то вдаль, на дорогу. Будто ждал кого-то.

— Ждал кого-то? — переспросил Шубин. — И кого же, по твоему?

— Вот и я про то же подумал. Может, друга какого, который должен был приехать и остановить? А может, наоборот, врага, который обещал быть, да не явился? Я тогда еще перекрестился — не к добру это, думаю.

— И что, дождался?

— Нет. Никто больше не приехал. Зарецкий хлопнул в ладоши — сходитесь, дескать. Ленский поднял пистолет, да как-то странно... не дулом вперед, а стволом вверх. Будто салютовать собрался или выстрелить в воздух. Я еще подумал: «В воздух стрелять будет. Не хочет крови». А Онегин шел и целился. Шел медленно, шаг за шагом, и пистолет его даже не дрожал. Подошел к барьеру, прошел его и не остановился... и потом выстрелил. Грохот пошел, у меня аж в ушах зазвенело.

— Ленский стрелял?

— Не успел. Онегин пальнул первым. Молодой барин как подкошенный упал. Навзничь, руки в стороны. И не встал. Кровь на снегу алая.

— А что потом?

— Потом? Зарецкий подбежал, наклонился над ним. Долго стоял так, минуты две, не меньше. Потом выпрямился и говорит Онегину: «Готов». А тот стоит столбом, и пистолет в руке дымится. Потом кинул пистолет на снег, повернулся и пошел к саням. Даже не оглянулся. А Зарецкий еще постоял немного, потом сел в свои сани и уехал. А Ленский так и остался лежать на снегу.

Шубин записал все в книжку. Затем подошел к соснам, присел на корточки, осмотрел землю. Ничего примечательного — трава, хвоя, муравейник у корней. Он и сам не мог со всей определенностью сказать, что хотел здесь увидеть.

— Еще вопрос, Данила. Ты не видел, кто-нибудь подходил к этому месту накануне дуэли? Может, вечером, или ночью?

Мельник поскреб затылок.

— Не видел, ваше благородие. Но слышал. Ночью перед дуэлью кто-то ходил здесь с фонарем. Я в сторожке лежал, спать не мог, кости ныли, и вдруг слышу: шаги. Хрусть-хрусть по снегу. Я к окошку, а там огонек. Кто-то с фонарем идет, и прямо к трем соснам. Я окликать не стал, но удивился: кому это нейдет в такую пору, в мороз, ночью? И главное — зачем?

— И долго он ходил?

— Не ведаю. Пока фонарь не погас. А может, и не погас, может, ушел. Я потом уснул, хоть и не сразу — все думал, к чему это.

Шубин поднялся и отряхнул колени.

— Спасибо тебе, Данила. Ты мне очень помог. Прощка, дай ему полтину.

Мельник, получив монету, оживился и вдруг предложил показать еще кое-что. Он отвел Шубина за мельницу, где в кустах, среди крапивы и прошлогодних листьев, валялся старый, проржавевший пистолетный шомпол.

— Вот, — сказал он, протягивая находку. — Я его нашел наутро после дуэли, в снегу. Видать, обронил кто-то. Может, пригодится вашему благородию.

Шубин взял шомпол, повертел в руках. Шомпол был необычный. С одного конца на нем имела мелкая нарезка, с другого — следы ржавчины и какого-то масла, похожего на ружейное. Он спрятал находку в саквояж и поблагодарил мельника.

Обратно в усадьбу он возвращался в задумчивости. Картина начинала вырисовываться, но каждая новая деталь порождала десятков новых вопросов. Ленский перед дуэлью был не взбешен, а отрешен. Он ждал кого-то на дороге. Кто-то побывал на месте поединка ночью. А Онегин стрелял первым и стрелял наверняка.

Теперь предстояло выяснить, что именно показало вскрытие. И для этого нужен был лекарь Кнабе.

Карл Иванович Кнабе проживал в небольшом домике на окраине уездного городка, в пяти верстах от имения Лариных. Домик был чистенький, с палисадником, в котором росли анютины глазки и лекарственная ромашка, по этим цветам Шубин и нашел его без труда. На стук вышел сам хозяин — низенький, толстый немец лет пятидесяти, с лоснящейся физиономией, и въевшимся запахом камфоры и еще каких-то химикатов, исходившим от его персоны. Одет он был в строгий сюртук, наброшенный поверх домашней фланелевой куртки, и в мягкие туфли без задников. В руке держал трубку с длинным чубуком, которая, видимо, заменяла ему и успокоительное, и собеседника.

— Герр Кнабе? — осведомился Шубин, выходя из кареты и предъявляя предписание. — Надворный советник Шубин. Из Петербурга. Я расследую обстоятельства дуэли господина Ленского. У меня есть к вам несколько вопросов.

Кнабе побледнел — настолько заметно, что даже щеки его, казалось, несколько опали.

— Я... я уже давал показания... — пробормотал он, отступая в глубь прихожей. — Все, что знал, написал... Мне нечего добавить...

— Вот об этом я и хочу поговорить. — Шубин шагнул в дом без приглашения. — Пройдемте в кабинет. Разговор предстоит серьезный.

Кабинет лекаря был обставлен скромно, но не без достоинства. Шубин обратил внимание на книги: они были на немецком, разумеется, труды Гуфеланда, Рихтера, Эшенбаха; некоторые переплёты были такими старыми, что кожа на корешках потрескалась и осыпалась. Между книгами на полках стояли склянки с мутными жидкостями, подписанные готическим шрифтом: «Tinct. Valer.», «Elix. ad longam vitam», «Spirit. Mind.». На столе, помимо черепа, лежал хирургический набор — скальпели, пинцеты, зажимы, разложенные на чёрном бархате. Некоторые инструменты носили следы недавнего употребления, их не успели вычистить до блеска. Шубин, человек небрезгливый, всё же поморщился: ему предстояло говорить с человеком, который этими инструментами резал живую плоть, и разговор этот обещал быть не из приятных. Пахло карболкой и сушеными травами, развешанными пучками под потолком.

— Итак, — Шубин сел на стул и раскрыл записную книжку, — в вашем заключении сказано: «рана имеет входное отверстие правильной круглой формы, края опалены порохом». Правильно?

— Да-да, совершенно верно, — закивал немец, и его двойной подбородок заколыхался. — Я лично производил вскрытие. Собственноручно. Все записано с моих слов писарем.

— И вы подтверждаете, что опаление было?

— Подтверждаю. — Кнабе вытер лоб платком. — Я видел это своими глазами.

— Но позвольте, герр Кнабе. При расстоянии от барьера пороховые газы не достают до тела. Опаление означает, что выстрел был произведен с дистанции не более трех-пяти шагов. А то и в упор. Как вы это объясните?

Кнабе открыл рот, закрыл, снова открыл. Лицо его из бледного сделалось багровым, потом снова бледным. Он судорожно сглотнул.

— Я... я не могу объяснить... Ведь я не присутствовал при самом событии. Я писал то, что видел...

— Вы лжете, — спокойно сказал Шубин. — Или вы лжете сейчас, или лгали в заключении. Вас кто-то запугал? Заставил написать неполную правду? Кто? Зарецкий? Господин Онегин?

Немец тяжело опустился на стул и закрыл лицо руками. Плечи его затряслись, и Шубин понял, что он плачет.

— Господин Зарецкий... — прошептал Кнабе сквозь пальцы. — Он приехал ко мне на другой день после дуэли. Вечером, когда уже стемнело. Вошел без стука, сел вот на этот самый стул, где вы сейчас сидите. Сказал: «Пиши, что смерть от пули в грудь. Без подробностей. Без расстояний. Без направления выстрела. Просто — убит на дуэли». И положил на стол сто рублей ассигнациями.

— И вы согласились.

— А что мне оставалось? — Кнабе отнял руки от лица; глаза его были красны от слез. — У меня жена, дети, старуха-мать в Мемеле. Зарецкий сказал, что если я стану умничать, он не ручается за сохранность моего дома. А дом у меня деревянный, сгорит в одночасье. И аптека сгорит. И все, что я нажил за двадцать лет... Я испугался. Я не герой, господин Шубин. Я простой лекарь.

— Но, вы не лгали в заключении?

— Нет! — немец вдруг оживился и даже привстал. — Я не лгал! Я только... умолчал. Написал «рана опалена» — так оно и было! Просто не написал, на каком расстоянии. Но опаление было! Вот здесь, — он ткнул пальцем в анатомический атлас, — вокруг входного отверстия, на коже, следы порохового ожога. Я видел их своими глазами! И я записал это.

Шубин задумался. Потом сказал:

— Выходит выстрел был произведён не от барьера, а в упор. Вам придётся дать новые показания. Полные. На сей раз — правдивые.

Кнабе молчал, но молчание его было красноречивее слов. Он только перекрестился и опустил голову.

— Меня убьют, — прошептал немец. — Зарецкий узнает...

— Зарецкий ничего не узнает. Я позабочусь об этом. Дайте показания, и я возьму вас под защиту.

Кнабе долго колебался, переводя взгляд с Шубина на череп, служивший пресс-папье, и обратно. Потом встал, подошел к шкафу, достал из него початую бутылку шнапса и два стаканчика.

— Не желаете? — спросил он дрожащим голосом.

— Нет. Я при исполнении.

Немец налил себе, выпил залпом, поморщился. Потом сел за стол и, придвинув лист бумаги, обмакнул перо в чернильницу.

— Я напишу, — сказал он. — Все, как было. Но можете ли вы обещать, что семья моя не пострадает от этого.

— Обещаю, — ответил Шубин, стараясь придать своему голосу как можно больше уверенности.

И, дождавшись, пока лекарь допишет свои показания, он спрятал лист в саквояж и отклонился.

Уже выходя из домика, он обернулся:

— И вот еще что, герр Кнабе. Вы не знаете, у кого из местных помещиков есть привычка прихрамывать на левую ногу?

Немец задумался.

— Прихрамывать? Кажется, у господина Зарецкого есть знакомый... нет, не припомню. Простите.

— Ничего. Я найду его сам.

Шубин сел в карету и велел трогать. Теперь у него были показания свидетелей. Оставалось найти документальные подтверждения и того, кто стоял за спиной Зарецкого и Онегина.

Глава четвертая. Штосс, пунш и обмолвка

Усадьба Зарецкого, куда Шубин направился на следующее утро, находилась в семи верстах от Лариных, на берегу заросшего пруда, посреди запущенного парка, где когда-то, говорят, водились ручные олени, а теперь разгуливали одни только крапива да полынь, достигающие местами человеческого роста. Дом — приземистый, в один этаж, с колоннами, облупившимися до кирпичной кладки, — глядел на мир слепыми окнами с закрытыми ставнями. Крыша местами прохудилась; водосточные трубы, проржавевшие и погнутые, жалобно поскрипывали на ветру; на воротах, выкрашенных когда-то зеленой краской, висел амбарный замок величинной с добрую репу, но калитка рядом была приотворена, и Шубин, не колеблясь, вошел во двор.

Двор был завален хламом, какой скапливается в поместьях, где хозяин давно махнул рукой на порядок: сломанные сани с задранными оглоблями, разошедшиеся бочки, гряда битого кирпича, оставшегося, видимо, от разобранной печи, ржавые обручи от кадушек и старая конская упряжь, брошенная прямо в грязь. Старый лакей в ливрее, изъеденной молью и заляпанной чем-то жирным, дремал на крыльце, привалившись к перилам и надвинув на глаза выцветший картуз. Услышав шаги, он встрепенулся, вытаращил на гостя слезящиеся глаза и, видимо, приняв его за одного из бесчисленных кредиторов хозяина, пробормотал:

— Барин не принимают-с. Они не в духе-с.

— Доложи, — коротко бросил Шубин, протягивая свою визитную карточку. — И поживее. Дело государственной важности.

Лакей, взглядевшись в карточку и разобрав, по-видимому, только герб, вдруг побледнел, протрезвел на глазах и, бормоча извинения, исчез за дверью. Отсутствовал он недолго. Вернувшись, молча посторонился и пропустил гостя в дом.

Кабинет Зарецкого производил впечатление. Пока хозяин наливал себе водку, Шубин успел разглядеть приметы его обитания. На каминной полке, среди пустых бутылок и окурков, стояла засиженная мухами миниатюра — какая-то женщина в чепце, с младенцем на руках. Кто она была — жена, любовница, дочь? На полу, у кресла, валялись растрёпанные карты — игральные, но не обычные, а какие-то странные, с непонятными знаками. Под потолком, в паутине, трепетала моль, и никто, казалось, не собирался её прогонять.

Словом, это была не комната, а скорее берлога старого холостяка, много повидавшего и давно махнувшего рукой на приличия. Стены, выкрашенные в цвет адского пламени — темно-красный, почти багровый, — были увешаны коллекцией холодного оружия: ятаганы, кортики, кинжалы всех мастей и размеров, и среди них, на почетном месте, висела турецкая сабля с насечкой. Тут же висели почерневшие от времени картины в тяжелых золоченых рамах, изображавшие сцены псовой охоты: борзые, настигающие оленя, и всадники в красных мундирах, трубящие в рога.

Бильярдный стол посреди комнаты был покрыт не сукном, а старой попоной, на которой громоздились бутылки — пустые и полупустые, — тарелки с объедками, карты, рассыпанные веером, и медный подсвечник с оплывшим огарком. В углу, на высокой подставке, стояла клетка со скворцом — нахохлившийся, взъерошенный, он время от времени издавал резкие звуки, удивительно напоминавшие брань. Пахло в кабинете табаком, пролитым ромом и запустением — особым составом, какой бывает в жилищах, где давно не проветривали и не мыли полов.

Сам хозяин сидел в глубоком вольтеровском кресле, обитом когда-то алым штофом, а ныне протертым до основы. Это был человек лет сорока, грузный, с одутловатым лицом, на котором выделялись усы, крашенные в черный цвет — краска, видимо, была дешевая, потому что кончики усов отдавали рыжиной. Глаза у него были маленькие, заплывшие, но взгляд их оставался цепким и трезвым, несмотря на выпитое. Одет он был в архалук — просторный

домашний халат, подпоясанный шелковым шнуром с кистями, — и туфли без задников; на голове красовалась ермолка с кисточкой. В руке он держал трубку, из которой вился сизый дымок, закручиваясь под потолком причудливыми кольцами.

— А, господин ревизор! — возгласил он, не вставая с кресла. — Или, бишь, сыщик? По глазам вижу — сыщик. У вас, батюшка, глаза как у борзой на охоте: все видят, все замечают. Садитесь, не стесняйтесь. Водки? Или, может, пуншу? Я, знаете ли, предпочитаю бомбардинский: пиво пополам с ромом, сахар, мускат. Голову горячит — спасу нет, но вкусно.

— Благодарю, я при исполнении, — Шубин сел на краешек стула, не выпуская из рук трости. — Я к вам по делу.

— Знаю, по какому, — Зарецкий выпустил клуб дыма, и тот поплыл к потолку, закручиваясь причудливыми кольцами. — Все по тому же. О покойнике. О Ленском. Уж сколько копий сломано, сколько бумаг измарано, а все неймется петербургским. Что ж вам, сударь, еще надобно? Ведь все же ясно: дуэль, выстрел, труп. Ревность — штука такая.

— Не все, — ответил Шубин. — Есть несоответствия. Мне, сударь, известно, что выстрел был произведён почти в упор. Как это объяснить, господин Зарецкий, с точки зрения дуэльного секунданта? .

Зарецкий выпустил клуб дыма, потом налил себе рюмку водки из стоявшего на подлокотнике графина, выпил, крикнул.

— Допустим, — сказал он, вытирая усы тыльной стороной ладони. — Но сие обстоятельство ни к чему не ведет.

— Сие означает, господин Зарецкий, что вы были секундантом весьма своеобразным: не позаботились ни о соблюдении правил дуэли, ни о враче, ни о карете для раненого, а когда Ленский упал, не попытались оказать ему помощь.

— Мороз был, — буркнул Зарецкий, наливая себе еще. — Двадцать градусов. Что я мог сделать? Везти его в тряской телеге — только мучить. А он уж отходил. Я наклонился, послушал дыхание, его уже не было. Кровь хлестала так, что снег вокруг за минуту красным стал.

— Есть еще кое-что. У меня есть письменные показания о том, что выстрел был произведён почти в упор. Кнабе признался, что вы заставили его скрыть это.

Зарецкий медленно поставил рюмку на стол, и рука его — Шубин это заметил — чуть-чуть дрогнула.

— Вот оно что, — проговорил он тихо. — Вы, стало быть, и до этого докопались. Что ж, поздравляю. Вы, столичные дознаватели, точно расторопнее местных. Но, видите ли, в чём штука... есть вещи, которые лучше не знать. И люди, с которыми лучше не ссориться. Я-то ладно, я старый циник, меня не жалко. А вот вы — человек молодой, у вас карьера, будущее. Зачем вам эти покойники? Живите и радуйтесь.

— Не уводите разговора пустыми намеками, господин Зарецкий, — оборвал Шубин. — Если вы заплатили господину Кнабе, то кто заплатил вам за эту дуэль?

Зарецкий разглядывал свою рюмку так, будто видел ее впервые. Потом вдруг заговорил — быстро, отрывисто, словно прорвало плотину:

— Извольте. Но без записи. В декабре ко мне приехал человек. Из Петербурга. Лица я не разглядел и не старался, он был в дорожном плаще и надвинутой шляпе, воротник поднят до самых глаз. Говорил тихо, с хрипотцой, как человек, привыкший отдавать приказы. Сказал, что мне надлежит обеспечить исход некоего дела. Я спросил — какого? Он ответил: «Ваш сосед Онегин скоро поссорится с другим вашим соседом, Ленским. Вы станете секундантом. Все должно кончиться смертью последнего. Никаких неожиданностей быть не должно». Всю пору, я был в изрядных долгах. Поэтому просто спросил: сколько? Он положил на стол десять тысяч ассигнациями. Десять тысяч! А у меня имение заложено-перезаложено... И потом, я

рассудил так: если Онегин сам затеет ссору, значит, таков промысел. Мое дело маленькое — проследить за формальностями.

— Точнее, убедиться в исходе сего предприятия.

— Как вам угодно, — легко согласился Зарецкий. — Тот же человек приехал за день до дуэли, ночью, с фонарем. Сказал: «Сделайте так, чтобы у Ленского не было шанса». И дал еще пять.

— Значит, это вы ходили с фонарем в ночь перед дуэлью?

— Я. И проверял пистолеты. Убедился, что все сделано как надо.

Шубин встал. Он чувствовал как поднимается в нем волна гнева, но такие состояния в себе не любил, так как столь яркие эмоции всегда мешали холодному рассуждению

— Вы, господин Зарецкий, — сказал он, чеканя слова, — не просто соучастник убийства. Вы его орудие. И я приложу все силы, чтобы вы ответили перед законом.

Зарецкий посмотрел на него с каким-то странным выражением — не то жалости, не то любопытства, не то усталости.

— Сударь, — сказал он тихо, — вы, верно, не понимаете, с кем пытаетесь тягаться. Тот, кто велел известить Ленского, — не просто злодей из куртуазных романов. Это люди..., — он запнулся, словно подбирая слова. — Значительно выше вас по положению в Петербурге. И ваше рвение по службе может закончиться не в суде, но местах куда более трагических.

Шубин молчал. В эту секунду, глядя на Зарецкого, на его покрасневшее лицо, он вдруг понял, что стоит на пороге чего-то, что изменит всё.

— Премного благодарен за ваши хлопоты о моей скромной персоне, — сказал он тихо и четко. — И все же в намерения мои входит доведение дела сего до его полного разрешения.

Зарецкий усмехнулся.

— Вот как... — пробормотал он. — Впрочем, этого следовало ожидать. Вы, господин Шубин, верно, принадлежите к тому типу людей, что ратуют за правду. В том виде, в котором она им представляется, эта правда. Но, смею вас уверить, от такого знания не живут долго.

— Это угроза?

— Помилуйте, лишь предостережение. — Зарецкий залпом допил водку и отставил рюмку. — Уезжайте. Бросьте это дело. Напишите рапорт, что дуэль была нелепой случайностью, и возвращайтесь в Петербург. Я уж позабочусь, чтобы мое признание осталось между нами. А нет — пеняйте на себя.

Шубин поднялся.

— Прощайте, господин Зарецкий. Со своей стороны я позабочусь, чтобы разговор сей был продолжен при иных обстоятельствах.

Он вышел из кабинета, чувствуя, как по спине между лопаток струится холодок. У дверей его догнал голос Зарецкого отчего-то охрипший, надтреснутый:

— Так не прощайте, сударь! Au revoir, как говорят французы. До скорого!

И скворец в клетке, будто вторя хозяину, пронзительно заверещал.

Шубин вышел на крыльцо и глубоко вздохнул. Вечерело. Над прудом поднимался туман, и в его клубах тонули очертания старых ив. Прошка, ожидавший у кареты, вопросительно посмотрел на барина.

— Домой, — коротко бросил Шубин. — Точнее, в усадьбу Лариных.

Он сел в карету и захлопнул дверцу. Теперь у него были показания Зарецкого, пусть и неофициальные, но в сочетании с заключением Кнабе и свидетельствами мельника они рисовали картину вполне детальную.

Глава пятая. Няня Филиппьевна и пропавшие письма

На следующий день Шубин снова отправился в имение Ленского. Утро выдалось пасмурное, с низкими облаками, цепляющимися за верхушки берез, и мелким, морозящим дождем, который превратил дорогу в вязкое месиво. Прошка, правивший лошадьми, то и дело нахлестывал их, но карета все равно двигалась медленно, с пробуксовкой, и колеса оставляли в глине глубокие колеи, которые тотчас наполнялись мутной водой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.